

Иван Панаев

# Галерная гавань



Иван Иванович Панаев

## **Галерная гавань** (Очерки из петербургской жизни)

«„Сытый голодного не разумеет“ – прекрасная и очень умная пословица. Справедливость ее подтверждается в жизни на каждом шагу. Я недавно думал об этом, возвращаясь из Галерной гавани...

– Что такое это Галерная гавань? – быть может, спросит меня не только иногородный, даже петербургский читатель...»

# **Иван Иванович Панаев**

## **Галерная гавань**

«Сытый голодного не разумеет» – прекрасная и очень умная пословица. Справедливость ее подтверждается в жизни на каждом шагу. Я недавно думал об этом, возвращаясь из Галерной гавани...

– Что такое это Галерная гавань? – быть может, спросит меня не только иногородный, даже петербургский читатель.

Вы желаете знать, что такое Галерная гавань? Неужели вы никогда не слышали этого имени, – вы, петербургский житель? Галерная гавань – частичка громадного и великолепного города, в котором вы живете и наслаждаетесь, далеко у взморья, на самом конце Васильевского острова, по соседству со Смоленским кладбищем; ненадежный приют самого бедного петербургского народонаселения, о существовании которого вы только подозреваете – того народонаселения, которое замирает от страха при малейшем возвышении воды и рискует быть потопленным всякий раз, когда в серый осенний день воет ветер, раздастся зловещий звук пушек, днем

развешиваются флаги на Адмиралтейской башне, а ночью зажигаются роковые фонари. Вы, живущие в лучшей и возвышенной части Петербурга, окруженные всеми прихотями той утонченной цивилизации, которая с каждым днем развивает для вас неслыханные удобства и роскошь, мало заботитесь об этих фонарях и флагах на Адмиралтействе и только при звуке пушек спрашиваете с любопытством:

– Что это такое? отчего это пальба?

– Вода поднялась выше колец в каналах, – отвечают вам.

– А! – равнодушно восклицаете вы в ту минуту, когда несчастные обитатели Галерной гавани уже перебираются, дрожа от холода, при крике и визге детей, на свои чердаки...

Вот что такое Галерная гавань.

Не все же нам разъезжать с вами, любезный читатель, на торцовой мостовой Невского проспекта и Большой Морской; гулять по Дворцовой набережной; сидеть в креслах или ложах блестящих театральных зал; любоваться хорошенькими личиками и изящными туалетами; не все же нам собирать анекдоты

из жизни петербургских камелий; рыскать по магазинам; толковать о том, что такой-то из наших приятелей получил такое – то место, а другой, которого мы даже не имеем чести знать, такой-то чин, крест, такое-то звание, такую-то награду или такое-то повышение; завидовать всем этим лицам втайне и злословить их въяве; подробно описывать балы, на которых мы с вами приглашены не были; подмечать смешные стороны разных господ и госпож, прогуливающихся по Невскому проспекту...

Петербург – не на одном Невском проспекте, Морских и набережных. И Галерная гавань – Петербург, и там живут люди, к тому же люди, о которых мы не имеем почти никакого понятия, о которых нам почти никто не говорит и с которыми я хочу слегка познакомиться вас...

Итак, читатель, обратимся к Галерной гавани. Теперь же это кстати: осень, серое небо, мелкий дождь, ветер, и вода, кажется, прибывает...

Мы отправимся по Большому проспекту Васильевского острова. Васильевский ост-

ров – это особый город в городе, непохожий на остальной Петербург. Он весь в зелени, в садах и в бульварах, как Москва. Аристократическая часть Васильевского острова – это его великолепная набережная, и так называемая Первая линия – его Невский проспект. На одном конце его – Биржа с своим великолепным портиком и монументальными маяками; на другом – Галерная гавань с своими полусгнившими и покрытыми мохом и плесенью домишками; на одном конце – счастливицы, кушающие устрицы в биржевых лавках и запивающие их шампанским; на другом – люди, не имеющие, может быть, и насущного хлеба – контраст, к которому все мы, впрочем, пригляделись и который беспрестанно встречается в жизни не на одном Васильевском острове. Негоцианты, моряки, кадетские офицеры, художники, ученые и самый бедный класс мелкого петербургского чиновничества составляют главное народонаселение Васильевского острова. Здесь, на его хазовом конце, вы встречаете толпы студентов, возвращающихся с лекций; биржевых диктаторов, подкатывающих к бирже на рысаках, моряков с

георгиевскими ленточками на черном пальто; профессоров в синих вицмундирах или сюртуках, в очках и без очков; в несколько фантастическом наряде – в каком-нибудь плаще, перекинутом за плечо, в серой шляпе с большими полями, с волосами до плеч, с различными бородками и с портфелями в руках и под мышками – молодых художников, которые все немножко любят корчить Вандиков и Рафаэлей.

Коренные жители Васильевского острова, все, и мужчины и женщины, за исключением разных биржевых тузов (по крайней мере мне так кажется), имеют характер более скромный сравнительно с жителями петербургского материка; в их походке, взгляде, одежде нет того мелочного и заносчивого тщеславия, которое встречаешь и пешком, и верхом, и в экипажах на Морских, на Невском проспекте и на великолепных набережных здешней стороны. Каким-то миром и спокойствием охватывает вас, когда вы углубитесь в линии Васильевского острова, подальше от Биржи и Первой линии. Глядя на эти небольшие, красивые и чистенькие деревянные до-

мики с садами или на эти каменные дома, отделанные с английскою прочностью, тщательностию, красотою и комфортом, с медными дощечками на дверях, блестящими, как золото, – вы невольно полагаете, что в них обитают самый строгий порядок, самая благоразумная расчетливость; что здесь не бросают безумно денег, как у нас в Морской или на Невском; не живут на авось и не ставят последней копейки ребром, чтобы только пустить в глаза пыль своему ближнему. Эти дома и домики принадлежат по большей части иностранцам, – людям, помаленьку скопившим себе капиталы трудом, знающим цену деньгам, на которые мы, не знающие, что такое труд, и имеющие по несколько сот и тысяч душ, выпадающих нам на долю по наследству, смотрим с небрежением. Город на Васильевском острове имеет, может быть, поэтому что-то свое, особенное, не петербургское; по скромности и наружному порядку он напоминает несколько немецкие города. Здесь нет той славянской размашистости в жизни, которая поражает везде по другой стороне Невы, на материке, за монументальным Ни-

КОЛАЕВСКИМ МОСТОМ...

Загляните хоть из любопытства или для проверки моих замечаний в трактир г. Гейде. Это заведение не имеет ничего общего ни с баснословно дорогими ресторанами Дюссо, Донона и Бореля, где ухаживают только за лицами известными, кушающими по карте, то есть платящими за обед не менее шести рублей серебром; ни с русскими трактирами, которые более радушно угощают вас скверным маслом, поддельным шампанским и расстроенным органом. Заведение г. Гейде переносит вас совершенно в Германию, в средней руки трактир в немецком городе; здесь умеренный, очень порядочный table d'hote от 2 до 6 часов, по 60 коп., два бильярда, кости и пиво. Это немецкий клуб, пропитанный табачным запахом, всегда полный своими обычными посетителями, которые молчаливо и глубокомысленно пощелкивают бильярдными шарами или костями, покуривая свои сигары и попивая свое пиво... Ни один из посетителей ресторана Гейде – можно пари держать – не издержит более полутора рубля, хотя бы он просидел до полуночи: ни одному из этих господ

не придет в голову закричать: «Шампанского!» – и пить без всякого удовольствия теплое и подозрительное вино только для того, чтобы озадачить неизвестного господина, сидящего напротив, как это иногда делается у Дюссо и у Палкина. У Гейде все посетители знакомы друг с другом, и никто не желает озадачивать друг друга...

Чем далее вы углубляетесь по Большому проспекту от Первой линии, тем все тише и спокойнее становится вокруг вас. Вы идете как будто большой аллеей сада, потому что домов не видать за кустами и деревьями. За 7-й линией появляются уже деревянные мостки вместо плитных тротуаров; экипажи все реже и реже; за 12-й линией вам попадаются только извозчичьи дрожки и то изредка. Здесь и пешеходов-то немного... Матрос в холстинном сюртуке, замазанном дегтем, идущий в Галерную гавань, молодой чиновник в форменном пальто с блестящими пуговицами, в фуражке с кокардой и красным околышем, очень довольный, по-видимому, этой полувоенной формой. Чиновник вдруг останавливается, пораженный, и провожает гла-

зами очень стройную, очень хорошенькую и очень бедно одетую девушку, которая, не обращая внимания, спешит к художнику, которому служит натурщицей. Далее за Финляндскими казармами, вправо, огромное поле с лесом в глубине, из которого выглядывают главы церквей: это Смоленское кладбище. Деревянные мостки с каждым шагом вашим вперед становятся беспокойнее и опаснее; здесь они служат не удобством, а препятствием для пешехода: доски в иных местах вздуло и покособило, в других они сгнили и провалились, обнаружив небольшую пропасть, покрытую грязною плесенью; к тому же у каждого ворот надо прыгать с этих патриархальных тротуаров и потом карабкаться на них, а у иных домов они поднялись больше, чем на аршин. Боясь переломить или вывихнуть себе ногу, вы сходите с них и продолжаете ваш путь по узенькой тропинке между заборами и палисадниками и этими допотопными тротуарами. Навстречу вам почти уж никто не попадает, а если и попадает какой-нибудь обитатель или обитательница Галерной гавани, то они посмотрят на вас с таким удивле-

нием и недоумением, с каким смотрят только разве на выходцев с того света. Впереди вас и уж очень недалеко полосатое бревно шлагбаума, за шлагбаумом взморье и парус лодки, а вправо ряд лачуг, которые тянутся к Смоленскому кладбищу – это-то и есть Галерная гавань, начинающаяся на конце Смоленского поля, или, вернее, болота, и спускающаяся к мутно-серой воде взморья. Вот что-то похожее на улицу перед вами: вы поворачиваете в нее... Неужели в самом деле это улица? С двух сторон ряд небольших деревянных, полу-сгнивших, одноэтажных домиков, перед которыми торчат одни безобразные остовы, на которых некогда были устроены мостки; а между этими остовами страшная топь, черная грязь и лужи: действительно, это улица. Она то вздувается холмом, то снова спускается в яму. Эти холмы покрыты яркою зеленью, которую пощипывают две грязные и тощие козы. В черной топи против одного домика, почти по середине улицы, стоит невыкрашенная, почерневшая лодка, на которой, может быть, за несколько дней перед этим плавали ее хозяева по этой улице. Домики по большей

части в три окна, много в пять; они выкрашены были некогда желтой и серой краской, следы которой еще видны доселе; крыши подернуты зеленым или желтым сухим мохом; у иных домиков вместо забора рогожи, прибитые к палкам, за которыми, когда рогожи распахнутся от ветра, выглянут две или три гряды капусты. Замечательно, что почти все эти домики заклеены красными такого рода надписями: «Сей дом должен быть уничтожен в мае 1854 года», а внизу иногда другая надпись: «Простоять может до 1860 года», или «сей дом может простоять до 1850 года», и, несмотря на это, он еще кое – как стоит до сей минуты, сильно, впрочем, покачнувшись набок. Эти надписи поражают человека, в первый раз зашедшего в Галерную гавань: тяжело становится, глядя на эту заклеенную нищету, на эту шаткую, ненадежную собственность с определенным сроком для существования. Но посмотрите повыше: еще страшнее этих клейм ярлыки почти под крышами, с надписью 7 Ноября 1824 года. Между полу-сгнившими лачужками, у завалинок которых растут крапива и грибные наросты, попада-

ются нередко и новые домики, выкрашенные яркой краской, с бальзаминами и еранью на окнах и с кисейными занавесками, – аристократические домики, потому что везде есть аристократы, – даже и в Галерной гавани. В самой середине галерную слободу разделяет канал, через который перекинут большой деревянный мост. За мостом улица несколько пошире и потому посуше. Она сплошь поросла травой и в иных местах загромождена телегами, бревнами и досками и кучами хвороста и всякого сора. Эта главная улица, к которой сходятся другие улицы и переулки, выходит на болотистый луг, покрытый бесчисленными кочками, в конце которого видны, среди тощих и низких кустов, скирды сена, а у самого горизонта лес, примыкающий к лесу Смоленского кладбища... Людей в этой печальной слободе почти не видно: изредка перейдет через улицу от своего разваливающегося дома к мелочной лавочке старушонка в лохмотьях, держа в иссохшей и морщинистой руке молочник с отбитым носком, или услышав шум ваших шагов, высунется из окна девушка целый день не отнимающая головы от

срочного шитья, и с любопытством и удивлением посмотрит на вас и задумается: откуда, как и для чего попал сюда незнакомый человек? Тишина на улице нарушается только криком гусей, размахивающих крыльями и вылетающих из канала на берег, и мычанием коровы, которая, остановившись у ворот, глухо мычит, просясь домой и виляя своим хвостом от нетерпения. Канал, разделяющий гавань пополам, оканчивается большим прудом, берега которого поросли ивовыми кустами, а поверхность покрыта широкими круглыми листьями желтых болотных кувшинчиков. У моста, где канал довольно широк, стоит большая барка без мачт, набитая разным тряпьем и стружками, в которых, очень усердно копаются старуха и девочка... Воздух в Галерной гавани пропитан болотистым, грибным запахом и гнилью. Самый бедный, отдаленный, грязный городок внутри России нельзя сравнить с этою несчастною слободою, которая еле держится на трясине болота. Глядя на эти домишки и улицы, не веришь, что это частичка великолепного Петербурга и что гранитная набережная Невы с ее огромными здани-

ями только в трех верстах отсюда.

Заметьте вот этот домик в два окна пепельного цвета, с завалинкой наперед, стоящий несколько повыше других на берегу канала и прислонившийся к толстой, расщепившейся и полусгнившей иве. В нем (это было давно) жила старушка, вдова чиновника, с двумя детьми – сыном и дочерью.

Я вам расскажу вкратце историю этого семейства, как она была мне передана человеком, принимавшим участие в этих бедных людях.

Старушку звали Матреной Васильевной, дочь ее – Татьяной, а сына – Петром. Муж старушки служил в каком-то департаменте сто-лоначальником и всякий день из Галерной гавани ходил на службу. Он родился в Гавани, женился и провел в ней всю жизнь, аккуратно и добросовестно исполняя свои служебные обязанности и разделяя все свои интересы между службой и семейством. Способности он имел ограниченные, по натуре был робок, и место сто-лоначальника, полученное им в пятьдесят лет, совершенно удовлетворяло его честолюбие. Начальство было довольно его

аккуратностию и усердием и всякий почти год давало ему небольшие денежные награды; товарищи любили его за его честность; жена души в нем не слышала. Требований у них никаких не было, и они не жаловались на свою судьбу; даже частые наводнения их не беспокоили, потому что они привыкли к ним с детства. Всю прислугу их составляла кухарка, женщина, преданная им, служившая еще отцу чиновника, которой сама Матрена Васильевна нередко подмогала. В трех комнатах и в кухне, составлявших весь домик, были удивительный порядок и чистота: нигде ни пылинки и все лоснилось. Матрена Васильевна, всякий раз после чаю провожая своего мужа в должность, сама закутывала его, чистила щеткой его шинель и крестила его, а когда он возвращался со службы, встречала его с такою радостью, как будто не видала несколько месяцев. Детей оба они любили и баловали немного. Так прожили они кротко и тихо более двадцати лет. Дети тем временем подросли; дочь была уж почти невеста, а сын кончил курс в гимназии, когда старик, после наводнения осенью 183 \* года, прово-

жившись, несмотря на крики и увещания своей жены, по колени в воде несколько часов сряду, простудился, слег в постель и умер. Отчаяние Матрены Васильевны было страшно. С год после смерти его она всякий день, несмотря ни на какую погоду, таскалась на его могилу на Смоленское кладбище, сидя на ней, кивала головой, причитая и восклицывая и, наверно, отправилась бы вслед за ним, если бы ее не поддерживала любовь к детям. Своих домашних обязанностей она, однако, не забывала; несмотря на свое горе, целый день хлопотала и возилась, и когда дочь говорила ей: «Что это, маменька, вы все сами... позвольте, я...» – она перебивала ее: «Нет, сиди, матушка, за своим шитьем, это не твое дело. Ты и так замучилась». После смерти мужа старушка поневоле взошла в долги, потому что одним пенсионом ей и одной нельзя было прокормиться. Дочь, впрочем, немного поддерживала ее своим рукодельем.

Таня была высокая, стройная и хорошенькая белокурая девушка. Она с детства показывала твердый и решительный характер, который можно было впоследствии особенно за-

метить в ее взгляде и в умном, несколько грустном выражении ее глубоких серых глаз. У нее рано обнаружились ничем не объяснимые антипатии и симпатии к людям. На четвертом году своего возраста она привела в совершенный ужас своих родителей, назвав одного из самых редких и почетных их гостей, господина в чине статского советника и с крестом на шее, в глаза «противным и гадким» (что, впрочем, действительно было справедливо), и убежала от него с визгом в ту минуту, когда он хотел удостоить ее своею ласкою и протянул уже свою руку, чтобы потрепать ее по щеке; а за два года до этого неприятного события, когда еще ее носили на руках, она, улыбаясь, протянула ручонки приласкавшему ее старику, отставному матросу-конопатчику в белой, замасленной дегтем куртке, из карманов которой торчала пакля, и сейчас с видимым удовольствием пошла к нему на руки. Припоминая эти обстоятельства, их соседка – чиновница, имевшая слабость молодиться, румяниться и закатывать глаза под лоб в разговоре, с молодыми людьми и почему-то считавшая Таню своей соперницей, замечала

о ней с презрительной гримасой: «Она еще с детства показывала самые неблагородные наклонности. У нее и амбиции никакой нет. Хорошего общества она избегает, а с Тимофеем-конопатчиком по целым дням разговаривает». И это была правда: Таня очень любила конопатчика Тимофея, а конопатчик Тимофей, известный всей Галерной гавани своею суровостью и честностью, обнаруживал постоянно к Тане необыкновенную и странную в таком человеке привязанность и нежность: когда она была ребенком, он строил ей корабли и помогал ей спускать их на воду, возился с ребенком во время отдыха от своей работы по целым часам и впоследствии, когда Таня выросла, часто заходил ко вдове посмотреть на «свою барышню» – так он называл Таню.

Таня рано поняла свое положение: лет с тринадцати она уже сделалась усердной помощницей своей матери и потом не выпускала иголки из рук, так что старушка должна была твердить ей несколько раз в день: «Полно, Танюша, перестань, отдохни немножко. Уж совсем смерклось. Что ты это глазыньки-то свои портишь?» Даже по большим

праздникам и по воскресеньям после обедни, когда ее подруги, в праздничных, раскрахмаленных кисейных платьях, прогуливались по Смоленскому кладбищу, она возвращалась домой и принималась за свою работу. По ночам Таня читала книжки, которые приносил ей брат; но днем никогда никто не видал ее за книжкой, и многие сомневались даже, умеет ли она читать; а нарумяненная чиновница, страстная охотница до романов, называла ее решительно безграмотной. Одевалась Таня чисто, но гораздо проще своих подруг и, несмотря на свою любовь к нарядам, отдавала почти все зарабатываемые ею деньги матери; иногда только оставляла себе безделицу на самые необходимые покупки. Далее набережной Васильевского острова Таня никогда не ходила, и Петербург по ту сторону Невы представлялся ей каким-то фантастическим городом, который возбуждал в ней и любопытство и боязнь. В особенности действовали на ее воображение рассказы ее брата о театральных представлениях. Петруша был страстный охотник до театров и непременно в месяц раз ходил в раек, добывая себе деньги

для этого перепискою.

Матрена Васильевна очень сокрушалась о сыне. Его надо было определить на службу, а он все говорил: «Еще успею, маменька», – по целым дням сидел дома все за какими-то книжками или рыскал бог знает где и возвращался домой поздно, не заботясь о том, что мать и сестра не смыкали глаз до его возвращения.

– Бога ты не боишься, – говорила ему старушка, – ведь здесь долго ли до греха... здесь пустырь такой... тебя могут ограбить и убить. Разве не слыхал, что на прошедшей неделе нашли на Смоленском кладбище мертвое тело?.

Петруша обнимал и целовал мать, смеялся и говорил: «Что у меня взять-то, маменька? какой дурак станет на меня нападать?» – и в заключение успокаивал встревоженную мать клятвами, что вперед никогда не будет возвращаться так поздно. Однако слово свое Петруша не всегда держал. Кроме вспыльчивости и беспечности, извинительной, впрочем, в восемнадцать лет, он никаких дурных наклонностей не обнаруживал...

Однажды рано утром старушка, надев свое парадное платье, которое было подарено ей ее мужем, когда он еще был женихом и которое она хранила, как драгоценность, в сундуке, отчего оно немного пахло затхлым, и свой лучший чепец с бантом наперед, по старинной моде, вышла из дому, никому не сказав, куда она отправляется в таком наряде. На вопрос дочери, надевавшей на нее салоп и укутывавшей ее горло шерстяным шарфом, Матрена Васильевна только улыбнулась и сказала приветливо: «Молода, хочешь все знать: скоро состареешься. После узнаешь, дурочка!»

Старушка, выходящая из своей Гавани редко, очутившись вдруг на Адмиралтейской площади, в первую минуту совсем потерялась от шума, грома и блеска. Она у всех встречных спрашивала: «Позвольте спросить, бабушка, как мне пройти на Литейную улицу?» Некоторые проходили, не удостоив внимания ее вопрос, другие, более остроумные, указывали ей в противоположную от Литейной сторону; но, к ее счастью, ей попала старушонка салопница, останавливавшая прохожих с плачевной гримасой словами: «Помогите бед-

ной, несчастной вдове с семерыми детьми. Два дня без куска хлеба. Вечно буду за вас богу молиться». Матрена Васильевна, добродушно тронутая этими словами, подумала: «Вот еще есть на свете и беднее нас; как же нам жаловаться и гневить бога?» – и заговорила с салопницей.

– Неужто у вас семеро детей? – И покачала с сочувствием головой.

– Семеро, семеро, матушка, мал мала меньше, – отвечала салопница, – два дня сидят голоднехоньки.

Матрена Васильевна вынула из своего ридкюля гривенник – у нее всего было три – и подала его салопнице. Салопница проводила ее до Литейной и болтала дорогой без умолку о своей крайности и о своих детях, которых в действительности у нее не было, и чуть не до слез растрогала старушку.

На Литейной жил начальник того департамента, в котором служил ее покойный муж. С трепетом сердца и с молитвою на губах Матрена Васильевна взялась за медную ручку подъезда, сверкавшую, как золото...

– В добрый час, в добрый час, – шептала

она про себя. В подъезде остановил ее усатый унтер-офицер с медалями.

– Кого вам? – спросил он строго.

– Их превосходительства господина...

– Просительница, что ли? – перебил он еще строже.

– Да, батюшка, с просьбой к их превосходительству...

– Наверх, на правой стороне. Там скажут куда.

– Слушаю, батюшка, – и старушка, поклонись сторожу, с великим страхом начала подниматься по лестнице, боясь ступить на холст, которым был покрыт ковер, чтобы не оставить следа на холсте.

Лакей наверху, гордо осмотрев ее с ног до головы, ввел в комнату, где дожидались уже два просителя, и, произнеся «здесь», вышел из комнаты. Старушка, несмотря на то, что едва держалась на ногах от такого длинного и непривычного для нее похода, не смела сесть и только по временам, вздыхая, произносила про себя: «Господи, боже мой! Ох, господи, господи!»

Так прошло около часу. Наконец дверь из

соседней комнаты растворилась, и в дверях показался господин средних лет, небольшого роста, с блестящим украшением на груди, с необыкновенно значительной и озабоченной физиономией, окинув орлиным взглядом из-под нависших бровей присутствующих. Старушка как взглянула на него, так и обомлела. «Что я наделала, – подумала она, – никак, я не к тому попала». Начальник ее мужа был плешивый старичок. Она видела его только раз в жизни; но черты его сильно врезались ей в память. Ей никак не могло прийти в голову, чтобы он мог умереть или выйти в отставку и быть заменен другим. Правда, плешивый старичок, начальник ее мужа, жил не на Литейной, а в Шестилавочной, но она, получая адрес, думала, что он переменил квартиру. «К кому же я это попала? что я теперь буду делать? – продолжала думать она и в ту же минуту, как бы не веря глазам своим, спрашивала самое себя: – неужто ж это генерал, и такой молодой?»

Между тем господин с украшением на груди подошел, с замечательным достоинством и ловкостью, к господину с украшением в

петлице, с глубокомысленною снисходительностью выслушал его и произнес: «Все это мне очень хорошо известно, но...»

Господин с украшением в петлице начал было что-то такое еще говорить; но господин с украшением на груди перебил его величавым жестом и произнес выразительно и громко, ударяя на некоторые слова:

– Теперь мне все это выслушивать некогда: меня ждет господин министр.

И с словом «министр» он посмотрел на свои карманные часы.

– Я не могу же для вас жертвовать временем, когда меня ждет министр. Вы понимаете?..

У старушки дух захлебнулся при этих словах. Господин с украшением в петлице низко и молча поклонился и вышел. Затем, бросив мимоходом два слова другому просителю и взглянув на него только одним глазом, генерал, шаркнув правой ногой с таким искусством, которое бы сделало честь любому танцмейстеру, остановил себя в двух шагах от старушки и несколько попятился назад туловищем, вполне обнаружив тем свою ловкость

и прекрасные манеры (хотя их, правду сказать, обнаруживать было не перед кем, потому что старушка одна только оставалась в комнате), и произнес, повернув к ней свое правое ухо, назначенное для выслушивания просьб.

– Что вам угодно, сударыня?

Матрена Васильевна прерывающимся и дрожащим голосом, нескладно и длинно начала объяснять, что муж ее служил в департаменте тридцать пять лет сряду, что он пользовался милостями его превосходительства Ивана Кузьмича...

– Моего предместника? – бегло заметил начальник, – но... – на этом но он сделал значительное ударение и опять несколько попятился назад туловищем, взглянув на старушку с некоторым, впрочем, благосклонным, нетерпением, выразив голосом участие, а своей позой неизмеримую разницу, которая разделяла его от нее. – Но позвольте просить вас изложить вашу просьбу как можно кратче, потому что я не могу терять времени: меня ожидает господин министр... В чем она состоит?

Матрена Васильевна объявила, что она ни-жайше просит об определении своего сына, кончившего курс в гимназии, на службу в тот департамент, где служил его отец.

– А! – воскликнул начальник. – Очень хорошо-с... но извольте видеть, сударыня, вакансий теперь нет. Он может быть покуда определен только без жалованья; а там мы увидим, испытаем его, и тогда можно будет назначить ему жалованье по мере его способностей и усердия к службе... Пришлите его ко мне.

Затем он, взглянув левым глазом на просительницу, с полуулыбкою наклонил голову несколько в правый бок и крикнул: «Карету!» Лакеи засуетились, курьер побежал по лестнице с портфелем вперед, а за ним величественно последовал начальник.

Старушка, следуя за ним, не спускала с него глаз и видела, как он сел в карету, поддерживаемый с одной стороны лакеем, а с другой курьером. Генерал даже удостоил бросить на нее взгляд из кареты, когда она стояла на тротуаре и низко кланялась ему.

Господин с блестящим украшением на гру-

ди, несмотря на гордые и величественные манеры, имел доброе сердце, которое смягчалось в особенности, когда он замечал в своих подчиненных или просителях некоторый трепет и удивление, справедливо возбуждаемые его званием и его величественными манерами. Злые языки и господа, расположенные к иронии, уверяли, что будто он воображает о себе бог знает что, людей низших чинов даже не считает людьми, учится перед зеркалом своим позам и орлиным взглядам, бьется из одного эффекта и пускает пыль в глаза даже перед такими ничтожными старушками из Галерной гавани, как Матрена Васильевна, в непрестанном беспокойстве не уронить своего достоинства; но мало ли чего не говорят. Конечно, он не имел, может быть, той «неизменной кротости и неутомимой вежливости – верного свидетельства уважения человека к достоинству человеческому в себе и в других, и, наконец, той неистощимой любви к людям-братьям, какой бы ни были они крови, на какой бы степени развития ни стояли», как тот английский государственный муж, на которого обратила справедливое

внимание «Русская беседа» [1]; но такие государственные люди во всех странах бывают редки, и ставить на одну доску какого-нибудь лорда Меткальфа с государственным лицом, к которому приходила с просьбой Матрена Васильевна, было бы, без всякого сомнения, несправедливо...

По крайней мере Матрена Васильевна была от него в восторге и, возвратись домой с торжеством, сообщила подробности своего посещения сыну и дочери, не могла наговориться о добрейшем и вежливом генерале, который называл ее сударыней, и не могла надивиться молодости его лет. По мнению старушки, умнее, значительнее, важнее и красивее не было генерала на свете.

Петруша, действительно, был определен добрым генералом в департамент без жалования и начал совершать ежедневные путешествия из Галерной гавани на Фонтанку.

Вскоре после этого одна довольно значительная дама старая благодетельница Матрены Васильевны, к которой она ходила на поклон раз в год, рекомендовала Таню, как хорошую швею, другой значительной даме, так

что Таня получила большую работу и за довольно выгодную цену.

Старушка никогда еще не была так счастлива и спокойна после смерти мужа...

Раз, когда Таня, по своему обыкновению, сидела у окна за работой, а Матрена Васильевна вязала носки для сына (Петруша был в должности), у их домика остановились блестящие дрожки, запряженные серою лошадейю с яблоками. На этих дрожках сидел очень красивый и молодой господин, щегольски одетый, и кричал: «Эй, дворник, дворник!»

Но так как дворников в Галерной гавани нет, то крики этого господина оставались безответными; только на этот крик повысунулись с удивлением из окон в соседних домах мужские и женские головы, а на улицу сбегались толпою ребятишки, и обступили блестящие дрожки щегольски одетого господина, разинув рты от удивления при виде необыкновенного для них зрелища...

— Где дом Савелова? — крикнул на ребятишек щегольски одетый господин с нетерпением и досадой...

Они молчали, неподвижно выпучив на

него глаза; а те, которые стояли поближе к дрожкам, испуганные его сердитым голосом, отбежали подальше и начали смотреть на него издалека.

Когда господин повторил свой вопрос, Таня на его крики отворила окно и, высунувшись в него, отвечала:

– Кого вам угодно? Савелова дом здесь.

Господин щеголеватой наружности, услышав тонкий и звучный голос девушки и увидев в окне хорошенькое личико, мгновенно сгладил морщины с своего лица, соскочил с дрожек, принял очень красивую позу и ловко приложил руку к шляпе.

– Извините, – сказал он, – не знаете ли вы, где живет вдова чиновника... – он назвал их фамилию.

Таня отвечала, что здесь.

– Покорно вас благодарю. Вы позволите к вам взойти?

И после этих вопросов обернулся к своему кучеру.

– Черт знает, – сказал он ему вполголоса, – куда это мы заехали! Посмотри, не сломались ли дрожки... Здесь невозможно ездить... это

ни на что не похоже... это не улицы, а я не знаю что такое... Ты выезжай потихоньку и осторожнее на Большой проспект и там меня дожидайся.

И с этим словом он наклонился и вошел в калитку дома.

На крыльце встретила его несколько встревоженная и удивленная старушка, сзади которой стояла дочь.

– Извините, что я вас беспокою, – начал щеголеватый господин, приподняв слегка шляпу и обращаясь к Матрене Васильевне, – в вас принимает участие одна дама, и я, по ее просьбе, приехал к вам, чтобы узнать о вашем положении...

– Ах, это, верно, моя благодетельница, ее превосходительство Анна Ивановна! – воскликнула старушка, – дай ей бог здоровья, она не оставляет нас своими милостями... и Танюшу мою не забывает...

Старушка повернула голову к дочери.

– Это ваша дочь? – спросил щеголеватый господин, устремив на Таню внимательный и долгий взгляд, который, казалось, хотел проникнуть в самую глубину ее сердца.

О таких взглядах Таня не имела никакого понятия, и потому ей стало как-то неловко. Она вся вспыхнула и потупила глаза.

Щеголеватый господин поклонился ей.

– Да пожалуйста, батюшка к нам в комнату, – говорила старушка, – милости просим, батюшка...

Щеголеватый благотворитель (потому что это, действительно, был благотворитель) пошел вслед за старушкой, устремив мимоходом на Таню еще более пронзительный и эффектный взгляд.

Старушка привела его в комнату и, усадив на стул, остановилась перед ним; но благотворитель вскочил с своего стула с утонченной вежливостью и усадил ее в свою очередь. Таня села к окну за свое шитье. Когда все уселись, наступила минута молчания. Благотворитель принял живописную позу, снял перчатку с руки, обнаружил белую, точно выточенную из слоновой кости руку, с розовыми, искусно обточенными ногтями, сверкнул перед этими бедными людьми целую массу дорогих колец на одном из своих пальцев и выставил свою маленькую ногу в блестящих

сапогах напоказ...

Я знал благотворителя довольно близко. Он был человек превосходный и добрейший, но имел небольшую слабость, если только это можно назвать слабостью, рисоваться перед женщинами, особенно перед хорошенькими, и показывать, как говорится, свой товар лицом. Он был убежден, и не без основания, что каждая женщина при взгляде на него не может оставаться равнодушною, и любил, иногда даже без особенной цели, смущать женские сердца. И потому за достоверность всего того, что он проделывал перед Таней, я ручаюсь.

После минуты молчания щеголеватый благодетель произнес, осматривая комнату:

– Какой у вас порядок, какая чистота! это приятно видеть... Это делает вам честь... Вы меня извините, если я попрошу вас сообщить мне некоторые подробности о вашей жизни...

Старушка откровенно и просто рассказала ему все и в заключение прибавила, что ее Таня занимается теперь шитьем для генеральши N.

Благотворитель выслушал ее очень внима-

тельно и серьезно, при слове «пенсион» заметил, надвинув немного брови: «А! так вы получаете пенсион!» – а при имени генеральши Н. выразил свое изумление вопросительным взглядом, устремленным на Таню, и вскрикнул, как будто обрадовавшись чему-то:

– В самом деле? – и с приятнейшею улыбкою прибавил более тихим голосом, – я очень рад – это моя матушка... я этого совсем не знал... – Потом он задумался и спросил: – так вы, стало быть, не имеете никаких других средств к существованию?

– Какие же другие средства, батюшка! нет, – отвечала старушка, – кроме этого маленького пенсионера, ничего; да вот еще моя кормилица, – она указала на дочь... – Сын, слава богу, определился на службу, да еще жалованья не получает; а она, моя голубушка, вот как видите, целый день сидит и головы от работы не отнимает.

Благотворитель встал, подошел с большою грациею к Тане и произнес с большим участием:

– Матушке моей совсем не нужны эти вещи к спеху. Я могу вас уверить. А вам так

много заниматься нехорошо: это может повредить вашему здоровью...

Таня покраснела и отвечала:

– Ничего-с: я к этому привыкла.

– Неужели, – продолжал он, – вы все сидите дома, не имеете никаких развлечений?

– Да какие же я могу иметь развлечения? – спросила она, не отнимая головы от шитья...

– Например, театры?..

Но на этом слове щеголеватый благодетель споткнулся, как будто почувствовав, что произнес глупость.

– Или какие-нибудь другие развлечения, – добавил он.

– Я никогда не была в театре, – сказала Таня, улыбаясь, – да и на той стороне я никогда тоже не бывала...

– Это, однако, ужасно! – воскликнул благодетель, пожав плечами...

Затем он обратился к старушке и, повторив, что в ее положении принимает участие дама, имени которой он не имеет права называть, заметил, несколько смешавшись, что он, с своей стороны, постарается быть ей полезным. Старушка кланялась и благодарила.

Уходя, благотворитель заметил ей, что жить так далеко от центра города и в такой глуши неудобно и что она могла бы приискать небольшую квартирку за дешевую цену на той стороне города, на что Матрена Васильевна отвечала, что они уж привыкли к своей Гавани, что здесь жили ихние родители, здесь она родилась и замуж вышла, здесь похоронен ее муж и здесь она хочет положить свои кости.

Затем благотворитель с восклицанием: «А!» – очень ловко раскланялся и, уходя, бросил еще раз взгляд на Таню. Перешагнув за калитку, он подумал: «Однако какая хорошенькая – и где же? в Галерной гавани... и какое симпатическое личико!» – и обернулся на окно... Он был очень доволен, увидев высушшееся из окна личико Тани, и, встретясь с ней глазами, снял шляпу, но Таня, заметив, что он ее увидел, быстро скрылась, не выдав этого поклона.

Дня через два после этого Матрена Васильевна получила пакет от неизвестного с 25 руб. серебром.

Внезапное появление щеголеватого благо-

детеля, разумеется, привело надолго в волнение всех жителей и в особенности жительниц Галерной гавани и возбудило во многих неблагоприятные и завистливые толки о Матрене Васильевне и ее дочери. Более все кричала нарумяненная соседка-чиновница, называя Матрену Васильевну пройдохой, а Таню – таким именем, о котором лучше не упоминать. Потом, когда волнение мало – помалу стихло, жизнь галерных обитателей вошла в свой обычный порядок. Так камень, брошенный в болотную лужу, покрытую плесенью и тиной, приведет ее в волнение, образует на мгновение кружок на поверхности стоячей лужи, и, когда упадет на дно, кружок снова затянется плесенью.

Прошло месяца три после этого события. В это время в домишке Матрены Васильевны не произошло ничего нового... Сама она вязала носки и хлопотала по хозяйству, как обыкновенно; Петруша занимался, по-видимому, службой усердно и приносил еще на дом переписывать бумаги. Таня все шила; но когда работа приведена была к окончанию, надо было подумать о том, чтобы отнести ее.

– Мне ведь надо это отнести самой, маменька! Как вы думаете?

– Да, да, голубушка! – отвечала Матрена Васильевна, – как же это только ты пойдешь-то? Ты ничего не знаешь: заблудиться можешь, да и какой-нибудь шальной, пожалуй, еще обидит.

После долгих разговоров решено было, что она пойдет на другой день с братом и что брат проводит ее до самого дома генеральши, а на обратном пути из службы зайдет за нею. Так и было сделано. Таня принарядилась несколько и рано утром отправилась с братом. Старушка прочла ей наставление, как она должна вести себя с генеральшей и с ее сыном, если увидит его; в каких словах выразить им благодарность за их благодеяние (она была уверена, что 25 рублей были присланы ими) и в заключение перецеловала ее и несколько раз перекрестила.

Петруша возвратился домой, по обыкновению, часов около шести, но один. Сначала это испугало Матрену Васильевну; но когда Петруша объявил ей, что генеральша уговорила Таню остаться на несколько дней, чтобы за-

няться работой, которую нельзя брать на дом; когда он отдал ей письмо от Тани и деньги, полученные ею за ее работу, когда он прочел ей это письмо, в котором Таня успокаивала мать на свой счет и писала, что генеральша осталась очень довольна ее работой, обласкала, ее и просила ее так убедительно остаться, что она не могла отказать ей в этой просьбе, – старушка успокоилась и произнесла, перекрестясь: «Слава богу! господь бедных людей не оставляет».

Прошло две недели после отлучки Тани, и Матрена Васильевна, заметно сучавшая по дочери, начала приходить в беспокойство и просила Петю зайти проведать сестру и узнать, когда она придет домой. Конопатчик Тимофей всякий раз заходил наведываться, не возвратилась ли Таня, и однажды, нахмурив свои густые брови, которые у него торчали наперед, и строго покачав головой, сказал:

– Это уж не след, Матрена Васильевна – вот что! – и, вынув свою тавлинку, с некоторым ожесточением по нюхал табаку.

- Что такое не след? – спросила старушка.
- Да то же... нехорошо...

– Да что же нехорошо-то? Она ведь не где-нибудь, а в генеральском доме; генеральша обращается с ней, как с своей дочерью... и она сама пишет об этом, и Петенька говорит.

Однако, оправдываясь перед Тимофеем в отсутствии дочери, Матрена Васильевна внутренне чувствовала, что Тимофей прав. На сердце у нее было что-то беспокойно, а отчего, она и сама не знала.

– Бог с ней, с генеральшей, – возразил Тимофей, – генеральша ей не мать... да! девица-то умная, что говорить, да уж там обычаи не те, совсем другое положение; дома-то все лучше, Матрена Васильевна: дома-то она, как в родном гнездышке; а та сторона нам чужая... туда соваться не след, верно так...

Прошел месяц, и хотя Матрена Васильевна имела постоянные сведения о дочери, но беспокойство ее увеличивалось, несмотря на это, с каждым днем, и она сама решилась пойти к Тане. Она нашла Таню здоровою и веселою; но материнское сердце заметило сейчас какую-то перемену в дочери, – какую именно, Матрена Васильевна не могла отдать себе отчета, – но эта перемена заставила ее призаду-

маться. Точно, в веселье Тани было что-то раздражительное, тревожное, выражавшееся и в движениях, и в голосе, и во взгляде, что-то необыкновенное и несвойственное ей. Генеральша, однако, упростила Матрену Васильевну, чтобы она оставила у нее дочь еще на несколько времени, и рассыпалась в похвалах ей. Старушка возвратилась домой, отчасти довольная лестными похвалами ее милой Танюше, отчасти печальная, сама не зная отчего.

Таня пробыла у генеральши более двух месяцев. Первые дни после ее возвращения домой Матрена Васильевна была в полном восторге и не делала над нею никаких наблюдений. Присутствие ее оживило их уголок: без Тани все было в доме не то, недоставало чего-то; с ее прибытием опять все приняло прежний вид. Таня первые дни немножко отдохнула, а потом снова уселась к своему окну за работу, и все пошло прежним порядком, как будто она и не была в отсутствии; но старушка, глядя на нее исподтишка, начала замечать, что она работает не так ровно и спокойно, как прежде: иногда воткнет иголку в

свою подушку и о чем-то как будто задумается; иногда так, ни с того ни с сего, высунется в окно, как будто в комнате ей недостает воздуха; иногда не слышит вопроса или отвечает совсем не на вопрос. Матрена Васильевна находила даже, что Таня худеет. Было ли это действительно так, или только казалось беспокойному материнскому воображению, – решить трудно. Так прошло еще несколько месяцев. В течение этого времени Таня раза два в неделю выходила из дому на короткое время и на вопрос матери: «Куда ты ходила, Танюша?» – отвечала постоянно, что «немного прошлась для воздуха, что у нее голова болит что-то: должно быть, прилив к голове». Таких приливов прежде у Тани не бывало, и она выходила только в воскресенье и по праздникам в церковь. Время шло. Таня начала заметно скучать. Часто, оставляя работу, она принималась за книжку днем, против своего обыкновения; часто выбегала в кухню и о чем-то тайком шепталась с кухаркой. Кухарка, раз мимоходом, всунула ей в руку какую-то записочку, которую Таня бегло пробежала и с судорожным движением спрятала на гру-

ди.

Когда однажды старушка получила рублей пятьдесят, и всё от неизвестного, эти деньги отчего-то более ее смутили, чем обрадовали.

– Знаешь ли что, Таня? – сказала она, обращаясь к дочери, – я ведь подозреваю, от кого эти деньги... мне все сдается, что это сын генеральши... только это напрасно: ведь есть люди беднее нас... Мы еще, слава богу, пробиваемся кой-как, а иные просто по суткам голодные сидят...

Таня ничего не отвечала на это. Она смотрела в окно. Старушка продолжала:

– Вот хошь бы наша Прасковья Антиповна. Она вчера забегала ко мне; просто, говорит, хоть петлю на шею да в воду... Знаешь ли, Танюша, я хочу отнести ей что-нибудь из этих денег... Ведь они нам как с неба свалились...

Таня вдруг, в каком-то волнении, с пылающими щеками, обратилась к матери и быстро проговорила:

– Что ж, это прекрасно, маменька! Дайте мне, я сама сейчас отнесу ей...

Наступила зима; зима сменилась весной. В семействе Матрены Васильевны не произо-

шло никаких особенных перемен; только прогулки Тани все делались чаще и продолжительнее, а на лето генеральша, мать щеголеватого благотворителя, взяла Таню к себе на дачу, написав очень лестное письмо к ее матери, в котором, между прочим, было сказано, что она (генеральша) «принимает искреннее участие в положении ее и ее дочери и что готова быть для нее второю матерью».

Как ни лестна была такая фраза самолюбивую Матрены Васильевны, но она отпустила дочь скрепя сердце.

По возвращении Тани с дачи старушка, взглянув на нее, не поверила своим глазам: так Таня, стоявшая теперь перед нею, не походила на прежнюю ее Таню... На ней было прекрасное платье, шляпка, манишка, ботинки, – все это подаренное ей доброй генеральшей. Матрена Васильевна любовалась всеми этими нарядами и осматривала ее в подробности. Ей показалось, что Таня и ходит, и смотрит иначе, и говорит не так.

– Теперь ты у меня стала точно какая-нибудь знатная барышня, – сказала старушка, целуя ее, и невольно вздохнула почему-то о

прежней Тане.

Зимой Таня начала часто бывать у генеральши и, уходя из дому, обыкновенно вместе с братом, который провожал ее, говорила матери:

– Может быть, я останусь ночевать там, маменька, так вы не беспокойтесь.

Матрена Васильевна крестила ее, говорила: «Хорошо», – но беспокоилась, хотя скрывала это.

Таня в последнее время очень сблизилась с своим братом. Было заметно, что между ними и ею существует полная откровенность.

В Гавани начали ходить о Тане недобрые слухи. На ее наряд косились старухи салопницы и жены чиновников и штурманских офицеров, а девушки, их дочери, даже некоторые из прежних подруг Тани, разговаривая с нею, как-то подозрительно улыбались; Тимофей-конопатчик стал ходить ко вдове реже и избегал встречи с Танею. Странно, что это последнее обстоятельство, по-видимому, более всего беспокоило Таню.

На следующее лето приглашения от генеральши не было, и Таня все лето провела в Га-

вани. Но она была постоянно в тревожном состоянии, сидела за работой только для виду, по вечерам уходила с братом гулять на Смоленское поле и возвращалась домой с красными, распухшими глазами. У Матрены Васильевны сердце чуяло что-то нехорошее. Она несколько раз спрашивала Таню:

– Да что с тобой, Танюша? скажи мне, друзья мой! Не скрывайся от матери.

Или:

– Отчего у тебя заплаканы глаза-то?

Но Таня упорно отвечала на эти вопросы одно и то же:

– Ах, боже мой! да ничего, маменька! Это вам так кажется.

И даже начинала сердиться на мать, когда та очень приставала к ней.

Так наступила дождливая и бурная осень 184 \* года... Но я должен еще сказать несколько слов о Петруше. Два года с лишком служил он в департаменте. Способностями и усердием его к службе были, кажется, довольны; сам начальник, с блестящим украшением на груди, изволил отзываться несколько раз в очень лестных выражениях о его почерке; но

жалованье Петруше не давали, и когда он осмелился заметить об этом своему столоначальнику, прибавив, что хоть бы какую-нибудь награду ему дали, хоть бы на сапоги, потому что одни сапоги разорили его; что он всякий день ходит из Галерной гавани, – то столоначальник, не любивший, чтобы подчиненные его рассуждали (он в этом несколько подражал своему высшему начальнику), принял слова молодого человека за грубость и сделал ему очень крупное замечание, проговорив, между прочим, себе под нос, так что Петруша слышал: «Каждый молокосос нынче уж бог знает что о себе думает!» Петруша в этот раз пересилил себя и смолчал, но когда шесть вакансий с жалованьем прошли мимо него, замещенные по разным просьбам и протекциям, Петруша, после замещения шестой, не выдержал и в один день прямо отправился к начальнику с блестящим украшением на груди, который всегда сидел в особой комнате и один. Когда Петруша подошел к заветной двери, от которой в эту минуту, как нарочно, отлучился курьер, постоянно торчавший тут, у Петруши сильно забилося сердце; но он не

удержал своей вспыльчивости, хватился за отлично вычищенную ручку замка и очутился за роковою дверью прямо перед лицом начальника.

Начальник, державший в руке какую-то газету, при этом шуме положил ее на стол и обратился к двери. При виде Петруши брови его строго надвинулись на глаза, и он спросил сердито и скороговоркою:

– Что это значит? что вам надобно?

– Я осмелился, ваше превосходительство... – начал было Петруша взволнованным голосом.

Но его превосходительство замахал рукой, схватился за колокольчик, начал звонить и кричать:

– Курьер! курьер! где курьер? пошлите курьера!

В соседней комнате поднялась страшная тревога; несколько человек бросились за курьером.

Курьер явился и вытянулся перед начальником.

– Что ты? где ты? – закричал он на него, – куда ты уходишь... Я занят, а тут без доклада...

Смотри... смотри... что это такое? что это такое? я тебя спрашиваю.

И разгоряченный начальник указывал пальцем на Петрушу.

– Ты видишь это? а? видишь?

– Виноват, ваше превосходительство, я только на минутку отлучился по нужде, – произнес курьер, искоса взглянув на Петрушу.

– Ты не знаешь, болван, своей обязанности! По нужде! А от твоей нужды происходят здесь беспорядки! Нужды не должно быть, когда ты на службе. В другой раз я тебя за это выгоню... я тебе прощаю это в последний раз... слышишь? в последний.

Когда курьер вышел, начальник сделал несколько шагов и полуоборотом обратился к Петруше.

– А вы, – сказал он, – как же вы осмеливаетесь входить к своему высшему начальнику без доклада? И какая может быть у вас до меня необходимость?.. Вы понимаете, какое расстояние между мною и вами?.. Отвечайте.

– Ваше превосходительство, – отвечал Петруша, – я виноват, простите меня; только

крайность... я служу усердно два года и пять месяцев без всякого жалованья; я всякий день хожу из Галерной гавани...

– Что мне за дело до вашей Галерной гавани? – перебил генерал. – У вас есть непосредственный начальник: вы должны обращаться с вашими нуждами к нему, а не ко мне... как же вы можете лезть ко мне сюда, со всякою глупостью? Что это за своеволие! И как вы можете самого себя рекомендовать... Что это такое?.. Извольте выйти вон.

И начальник энергическим жестом указал Петруше на дверь.

– И знайте, – прибавил он, – что такая с вашей стороны дерзость не может всегда пройти вам даром. Пошлите ко мне сейчас вашего столоначальника.

Столоначальник в одно мгновение оказался перед начальником и вышел из генеральского кабинета бледный. Он накинулся на Петрушу. Петруша вспыл и, не давая себе отчета в словах, не помня, что он говорит, объявил, что он подает в отставку, и тотчас выбежал из департамента.

Он едва очнулся на половине дороги.

«Что я сделал, – подумал он, – и что я буду делать теперь?»

В совершенном отчаянии он возвратился домой, а дома ожидало его новое горе.

Старушка мать бросилась ему навстречу. На ней лица не было. Она объявила ему, что Таня лежит в обмороке; что вскоре после его ухода в департамент она выбегала в кухню, шепталась с кухаркой и, возвратясь из кухни бледная как смерть, вдруг схватила себя за голову и грянулась об пол; что, когда ей расстегнули платье, на груди нашли смятую записку и что кухарка призналась, что эта записка отдана ей лакеем генеральского сына с просьбою доставить ее барышне.

И старушка подала записку сыну.

Петруша в эту минуту забыл о своем собственном горе. Он помертвел, выслушав мать, и с нетерпением, дрожащими руками, раскрыл записку.

Она была без подписи и вот какого содержания:

«Отношения наши должны кончиться. К тому же я не давал тебе клятвы в вечной верности. Я более не могу с тобой видеться, ты са-

ма поймешь причину, если я тебе скажу, что я женюсь. Прошу тебя быть благоразумной и не делать никаких скандалов – это ни к чему не поведет. Поверь, что я все, что могу, для тебя сделаю, – свои обязанности в отношении к тебе я очень хорошо понимаю; свидание же наше бесполезно, теперь ни к чему не послужат сцены; а я надеюсь, что ты не откажешься хоть в этот раз принять от меня небольшую сумму, которая поможет тебя обеспечить и которую ты вскоре получишь через моего поверенного, о чем я уже распорядился...»

Петруша пробежал эту записку, смял ее в руке и положил в карман. Матрена Васильевна смотрела на него, ожидая, что он передаст ей содержание записки; но Петруша сказал только:

– Пойдемте, матушка, к Тане.

Когда они вошли в комнату, где Таня лежала на постели, Петруша подошел к ней. Таня открыла глаза и посмотрела блуждающими, бессмысленными глазами на брата и на мать. Петруша припал к ней, давясь слезами, и повторил захлебывавшимся голосом:

– Полно, Таня, успокойся, Таня!.. Бога ради, не мучь себя напрасно.

Матрена Васильевна со стоном и оханьем говорила:

– Голубушка моя, что с тобою? что ты чувствуешь? скажи нам.

Но Таня ничего не понимала и ничего не отвечала. Петруша обратился к матери и сказал:

– Маменька, я побегу за лекарем, а вы куда не трогайте ее.

У Тани сделалось воспаление в мозгу. Две недели она была почти в безнадежном состоянии. Петруша и мать не отходили от нее. На это время конопатчик Тимофей почти поселился у них: он бегал за лекарством в аптеку, к фельдшеру, заведовал всем и распоряжался, потому что Матрена Васильевна бросила все. Таня выздоровела. Она так изменилась, что ее было узнать невозможно. По целым часам она сидела сложа руки и не говоря ни с кем ни слова. Ласки брата и матери были ей в тягость, и она отвечала на них с принуждением...

В одно из последних чисел октября, дней

через восемь после того, как Таня встала с постели, вечером поднялся сильный ветер, вода начала выступать и разливаться за плетни по огородам, выходящим к самому взморью. Во всей Гавани поднялась страшная тревога и суматоха. Везде загорелись огоньки. Все перебирались и переносились на свои чердаки. В каждом домике раздавались стоны и оханье старух, крик женщин, визг детей. Ветер к ночи усилился. Вода прибывала, затопив ближние к взморью улицы, и пробиралась в подполья. Ночь была такая темная, хоть глаз выколи. На Адмиралтейской башне горели уже три фонаря. Матрена Васильевна, Петруша и кухарка перетаскивали также кое-какие вещи получше на чердак. Таня помогала им, и на замечания матери: «Ты уж не трогай: мы всё это без тебя сделаем... Куда тебе! Ты еще такая слабая, еще, сохрани бог, простудишься да опять сляжешь», – Таня отвечала: «Ничего, я совсем теперь здорова, вы не беспокойтесь обо мне», – и бегала вместе с другими снизу на чердак. Вода у их домика остановилась на половине завалины, потому что он стоял немного выше других, но все пространство от

их завалины до другого домика по ту сторону канала было затоплено. Огоньки в окнах отражались и трепетали в мутной воде, которая ходила волнами и с плеском ударялась в стены домов, разливаясь и проникая во все щели и подмывая шаткие их основания. Издали по временам раздавались протяжные крики, заглушаемые стоном и свистом ветра. Ветер, однако, понемногу начинал стихать.

– Ну, слава богу, Петруша, – сказала Матрена Васильевна, спускаясь с чердака, – ветер-то стал, кажись, потише, и вода маленько убывла... А где Таня?.. Таня! Таня!

– Она сейчас была тут, – отвечал Петруша, и он также стал кричать: – Таня! Таня!..

Ответа на эти крики не было.

– Где Таня? – с испугом вскрикнула Матрена Васильевна, натолкнувшись на кухарку:

– Я не знаю, матушка! она в сенях была сию минуточку, – отвечала кухарка.

Петруша, потерявшись, начал бегать по всему дому, шарить во всех углах и кричать:

– Таня! Таня!

Он выбежал в сени, на улицу, остановился по колено в воде и кричал:

– Таня! Таня!

Но в ответ на это только завывал ветер и раздавался плеск воды...

Тани нигде не оказалось.

Бледное, печальное утро вошло над полузатопленной Гаванью. Матрена Васильевна все еще жила надеждой, что дочь ее где-нибудь отыщется; но с первым утренним светом эти надежды начинали в ней исчезать. Она подошла к окну, взглянула на убывающую воду и отчаянно вскрикнула в последний раз:

– Где ж моя Таня?..

У ней отнялся язык. Двои сутки пролежала она без движения, без памяти и без языка, а на третьи сутки отдала боту душу.

Тимофей и Петруша опустили ее в могилу.

Дней через пять после ее похорон Тимофей, все ходивший по берегу взморья и как будто искавший чего-то, увидел верстах в двух от Гавани, на самом завороте острова, женский труп, только что прибитый волною к песчаной отмели. Это был, по всем приметам, труп Тани. Он сам сколотил для нее гроб, вырыл могилу в лесу недалеко от берега, прочитал над гробом молитву и опустил его. Че-

рез несколько времени он обложил могилу дерном и поставил крест над нею.

Эту могилу, с почерневшим и покачнувшимся от времени крестом, можно видеть до сих пор влево от Смоленского кладбища, в лесу, на оконечности Васильевского острова.

О Петруше несколько времени после похорон матери не было никакого слуху. Где он скрывался, неизвестно; только он не возвращался более на свою квартиру.

Через несколько дней после этого, перед самым рождественским постом, у освещенного площадками подъезда на одной из больших петербургских улиц столпились любопытные в ожидании молодых. Две горничные из соседнего дома рассуждали между собою:

– А что, Маша, невесту-то ты видела?

– Как же, видела. С рожит-то она так себе; только, говорят, пребогатеишая... Он-то красавец перед нею... ну да, видно, на богатство польстился; а уж волокита такой, что этакого и нет другого... Просто бедовый!

В эту минуту к подъезду с громом начали подкатываться кареты, и из них, мелькая блестящими тенями, стали выскакивать дамы в

великолепных туалетах и кавалеры в военных и статских мундирах, с кавалериями через плечо и с блестящими украшениями на шее и на груди, и в числе их начальник Петруши.

– Смотри, смотри... вот и молодые! – вскрикнула одна из горничных, толкая другую.

Все придвинулись к подъезду, чтобы лучше видеть молодых. Какой-то молодой человек, в фуражке, бедно одетый и бледный как смерть, протолкался вперед всех и стал у самого подъезда, оттолкнув женщину с платком на голове, не пускавшую его. Женщина выругала его мазуриком.

Из кареты вышла сначала молодая, в белом атласном салопе, а за нею уже молодой, в блестящем мундире, на который была накинута шинель, и в трехугольной, также блестящей, шляпе. Он ступил на тротуар с подножки; но в это самое мгновение человек в фуражке, протолкавшийся вперед, ринулся на него с каким-то безумным ожесточением... Затем раздался крик... Несколько человек из толпы вместе с полицейскими служителями

схватили безумца и связали. В руках его оказался нож. Суматоха у подъезда сделалась страшная. К счастью, он не успел нанести вреда молодому.

– Вот ведь я говорила, что мазурик! – вскрикнула с каким-то торжественным ожесточением женщина с платком на голове...

Это необыкновенное происшествие надедало в Петербурге большого шума. О нем долго были различные, весьма противоречащие толки.

# Примечания

См. «Русскую беседу», книга II. Биография

[^^^]